

НАД БЕЛЫМ СНЕГОМ

Рассказ

По заданию редакции я выехал в один из дальних районов соседней с Москвой области, чтобы написать небольшой лирический репортаж в мартовский номер.

— Сюжет и людей найдешь на месте, — сказал редактор, — потому что жизнь иной раз гораздо интереснее наших о ней представлений...

Ничего не имея против такого отношения к жизни, я подумал, что репортаж сделаю легко. В этом районе есть хороший промкомбинат, и там, безусловно, работают люди и сами интересные, и с интересными биографиями. Я даже продумал схему репортажа, как мне казалось, до деталей. Теперь оставалось подыскать подходящий материал, посидеть над ним денёка два — и задание выполнено.

Как делаются репортажи? — думал я. — Приезжаешь на предприятие и заходишь к руководителю. Лучше, если он уже знает о тебе по звонку из райкома или горкома. Но можно и без звонка. Знакомишься и просишь помочь собрать материал для такой-то статьи или очерка. Если тема не слишком важна для предприятия, руководитель передает нас своему заместителю, заверив, что все будет в порядке. С заместителем вы бегло знакомитесь и проходите по цехам. Где-то там тебе представляют будущего героя репортажа, очерка или статьи. Ты начинаешь разговаривать с ним и достаешь блокнот, чтобы записать наиболее интересное. Парень чувствует себя неловко, замечая улыбки товарищей, да и тебе не очень-то приятно под теми же улыбками, но, в конце-концов, все кончается благополучно. Вы договариваетесь с гермом встретиться еще после работы — поговорить подробней, и, по возможности, ты хочешь увидеть его в домашней обстановке. Сделав еще

два-три снимка на производственном фоне, ты уходишь, сопровождаемый заместителем, чтобы у него в кабинете понять профиль производства и записать некоторые цифры, касающиеся общего плана и нормы выработки героя.

Вечером тебя ждут у героя дома. Накрыта чистая скатерть, теща колдует над огурчиками и «чем бог послал», а ты рассматриваешь фотографии, изображающие героя в детской коляске, потом, последовательно, в первом классе, в первой боксерской секции и с молодой женой. Потом вы разговариваете — о производстве и так, по пустякам, и все время ты пытаешься понять внутреннее состояние героя, так сказать, его душу. Наконец, ты считаешь, что понял это и прощаешься. Назавтра снова приходишь на производство, чтобы убедиться, что ничего не упущено, и чтобы, в свою очередь, заверить руководителя, что все будет в порядке. И уезжаешь в сознании выполненного долга и с ощущением собственной правоты, когда думал, что все в жизни влезает в схему — и довольно примитивную...

Был январь. Над небольшим городком, в который я приехал, стояли легкие, безветренные морозы. Иногда сыпал мелкий снежок. Он не задерживался на проводах и деревьях, и потому высокая березовая роща в центре городка все время казалась затянутой белым, струящимся к земле туманом.

Все нравилось мне здесь: и чистый воздух, который после московских улиц был особенно вкусным, и старинные деревянные дома с резными наличниками на окнах, и горбатые улицы, занесенные снегом и даже полуразвалившаяся церковь с вороньим граем над ней.

В чистенькой гостинице было тепло, на промкомбинате тоже все ладилось у меня, так что через три дня я

сделал все, что намечал, и отправился в обратный путь. Немного смущала меня легкость, с какой была заполнена моя схема, и та однолинейность, что ли, информации о герое репортажа — хорошем, в общем, производственнике и спортсмене, — но я не хотел ломать над этим смущением голов, отнеся его к объективным причинам — мало времени. Словом, задание выполнено, думал я, и рассуждать тут больше нечего...

Я выехал из городка вечером, комбинированным, товаро-пассажирским местным поездом, в котором, как во время войны, топились жаркие печи, сделанные из списанных железных бочек. В нашем вагоне бочка раскалилась докрасна, и какая-то бабуся решила поджарить на ужин яичницу. Вскоре дразнящий запах тающего сала разнесся по всему вагону. Мужчины шутили насчет пропадающей закуски, женщины развязывали узелки и доставали из них свою снедь. Кое-кто, по примеру бабуся, тоже пристраивался возле печки, намереваясь поужинать горяченьким. Пришла проводница, полная немолодая женщина в домашней ситцевой кофточке, посмотрела, сказала: «Вы только вагон мне спалите!» — и ушла. Стучали колеса, скрипели тормоза на многочисленных остановках, входили и выходили пассажиры, одетые в телогрейки, шубы, полушубки с кислым овчинным запахом, длиннополые ватные пальто с воротниками «под выдру». Они стучали мерзлыми валенками и сапогами по проходу, запихивали чемоданы и узлы под сиденья, раздевались, закуривали и начинали незначащие разговоры о ценах па лук в прошлое воскресенье на базаре в районе, о скверном характере какого-то Митяя Митяича, о пенсиях и отпусках. Я сидел и читал «Неизбежность странного мира». На станции Коптево была пересадка. Надо было дождаться ленинградского поезда — единственного, на котором можно уехать на Москву. По расписанию он приходил в Коптево в два часа ночи, следовательно, в моем распоряжении оставалось почти четыре часа, которые я решительно не знал куда

деть.

На перроне было ветрено и холодно. Дым из печей товаро-пассажирского летел в сторону вокзала и забивал дыхание. Порой то в одном, то в другом вагоне проводница шуровала топку, и тогда оранжевые, крупные искры редующим веером летели в тускловатом свете станционного фонаря и гасли где-то в голых ветвях деревьев сквера.

Продрогнув, я зашел в станционное здание, но там было не лучше: от необыкновенной скученности дышалось тяжело и клонило ко сну, хотя не только лечь, но и сесть было некуда. Непонятно, как один поезд мог забрать всех этих людей.

У кассы, где уже накапливалась очередь, стоял молоденький милиционер и разговаривал с таким же молоденьким парнем, случайно встреченным земляком. Время от времени он поворачивался к очереди, если там очень шумели, делал страшные глаза и покрикивал:

— А ну, не шуметь! Не на базаре все-таки!

Потом снова поворачивался к земляку, и голос тотчас становился простым и даже чуточку грустным: он вспоминал недавно оконченную школу и товарищей по ней.

— Значит, ты решил на шофера учиться?

— Да, — говорил парень. — Верное дело.

— Дело верное, это ты правильно говоришь. А как остальные ребята? Все устроились?

— Да почти все.

— А Маша Долгова? Не пошла по рукам?

— Нет, — улыбнулся парень, — не пошла. Она даже Ваську из Конкова отшила. Ждет себе кого-то, черт ее знает.

— А! — равнодушно протянул милиционер. — Ну, пускай ждет.

Они еще долго вспоминали общих знакомых, и между этими воспоминаниями и окриками на очередь милиционер несколько раз возвращался к неизвестной Маше Долговой.

— А Маша? Где она работает?
— На строительство пошла.
— Вот дура. Что ж, отец не мог ей места потеплее найти?

— А он и хотел найти, да Маша не захотела.

— Ремня ей надо было всыпать,
— деловито сказал милиционер.

— А он и всыпал, — снова улыбнулся парень.

— Ну! — изумился милиционер.
— Вот это да! И что же?

— Ушла из дома. В общежитии живет. А теперь и вовсе, говорят, уехать хочет, завербоваться.

— Дура и есть, — сказал милиционер...

Я поискал глазами свободное местечко, увидел кусок освободившейся батареи у окна и, привалившись к ней спиной, начал читать «Неизбежность странного мира».

...Какой-то старик протиснулся сквозь тугую дверь в зал. Был он в рваных, лишь местами заштопанных валенках, в старой, фронтового образца, солдатской шапке с опущенными ушами, в немыслимом полупальто из шинели, рукава и воротник которого, казалось, никогда не были ни новыми, ни свежими. Оглядевшись, старик сел прямо на кафельный пол, поставил рядом с собой новенький дойник и туго набитый мешок, выпирающий острыми углами.

Старик был седой, небритый. Рот его почти не закрывался в бессмысленной улыбке, отчего видно было, что во рту у него осталось едва ли два ветхих корня от давней зубной красоты. Когда он заговаривал, то показывался между этих корней язык совершенно здорового человека—розовый и влажный. Два парня, крепко выпившие в местном буфете, подошли и заговорили с ним.

— Послушай, Ваня. — сказал один, — продай мне дойник.

— Нет, — засмеялся старик, словно обрадовался наивности парня, — проваливай ты к черту!

Он тут же отвернулся и грязной рукой погладил рукав пальто моло-

денькой девушки, сидевшей па скамье рядом, и когда та оглянулась, проговорил, стараясь быть нежным:

— Ты моя доля!

Девушка засмеялась. Улыбнулась и ее подруга.

— И ты моя доля! — сказал старик.

— Ваня, а Ваня! — добивался парень. — Ну, не хочешь дойник продать, продай хоть иконку.

— Нет! — смеялся старик и снова тянулся к девушке.

— Ну, зачем тебе столько? — сказал парень. — Пусть тебе останется девяносто девять, а мне продай одну. Я буду носить ее вместо медальона.

— Проваливай к черту! — сказал старик и потянулся, чтобы взять девушку за руку.

— Отстань! — сказала девушка.

— Ты моя доля, — сказал старик нежно.

— Старый ты очень, — сказала девушка. — Дореволюционный.

— Ничего, — сказал старик, — ты моя доля.

— Сиди, а то позову милиционера, — сказала девушка. — Он тебе быстро долю найдет...

Парни ушли. Им надоело выпрашивать у старика дойник и иконки. Старик посидел еще немного, улыбаясь и глядя на людей глазами, полными доброты, потом достал из рваного кармана жестянку из-под леденцов с надписью «Сюрприз» и, вытряхнув из нее окурок, прикурил. Затянувшись раза два, он осторожно притушил окурок, спрятал его в жестянку, а жестянку в карман, привалился плечом к стене и уснул.

Подошел молоденький милиционер, посмотрел на спящего старика, зачем-то постучал валенком по дойнику, сказал:

— Ваня опять в Бежецк едет.

Заглянул ему за спину, увидел мешок.

— Ишь ты! Прибарахлился...

Старик счастливо засмеялся во сне...

Я вышел на улицу. Было все так

же холодно и ветрено и пахло угольным дымом.

На привокзальной улице реденько стояли фонари. Их желтые лампочки под жестяными колпаками раскачивались под ветром, разбрасывая вокруг зыбкую полумглу. Снег на дороге, истолченный сотнями лошадиных ног, санными полозьями, тележными и автомобильными колесами, тоже был желтый и отдавал конским навозом. Чуть дальше, где кончались фонари, стояла непроглядная тьма. Я глянул на часы: второй час ночи. До поезда оставалось пятьдесят минут. Возвращаться в зал ожидания не хотелось, и я решил пройти по темной улице, насколько успею.

Уже через несколько десятков метров запах угля и копоти исчез, и о станции напоминали лишь осторожные гудки маневрового паровоза. Вскоре перестали скользить ноги, потому, наверное, что посветлело — от снега, что ли... Я шел посредине улицы, а по обе стороны от меня темнели — ближе и дальше — деревянные дома и домишки, с тускло поблескивающими окнами, стекла которых до половины были закрыты ватой, обернутой в обойную бумагу. Если бы не ветер, тревожно царапавшийся сухим снежком по крышам из дранки, да по заборам из массивных горбылей, можно было подумать, что городок совершенно пуст: даже собачьего лая не слышно.

Вскоре я вышел к окраине. За последним домиком, стоявшим на отлете, дорога поворачивала вправо. Глянув туда, я невольно вздрогнул: метрах в ста от меня стояли люди. Я присмотрелся. Так и есть — пятеро или шестеро. Они стояли посредине дороги и о чем-то, видно, беседовали: головы их то сходились близко друг к другу, то откидывались назад. Голосов не было слышно, но кто мог в такой час и в таком месте совещаться, и о чем? Мне очень хотелось повернуть обратно, к спокойным станционным огням, с обжитым запахом дыма и с милиционером — пусть даже

молоденьким! — но я пересилил тревогу и решил подойти к ним. Вряд ли это грабители, — подумал я. Кого тут грабить?

С этой мыслью я сделал первый шаг дальше по дороге. Неожиданно резко скрипнул снег, и, решив, что теперь все равно замечен, я пошел, ступая твердо и спокойно, словно и в моем появлении здесь и в такой час не было ничего необычного.

Шагов за пятнадцать я понял, что люди, которых я испугался, — всего лишь деревья. Они стояли обочь дороги и медленно колебались на ветру. Что-то отлегло от сердца и стало непонятно, как я мог спутать деревья с людьми. Вот что получается, если долго не бываешь здесь, вдали от обманчивого и искусственного света городов, в котором трудно заплутать или обознаться, но в котором все выглядит одинаково...

Я прошел еще дальше, за деревья, и там остановился перед просторной, ослепительно белой даже в темноте, поляной, покато уходящей к огромной и темной стене леса, которая поднималась из легкого снежного мерцания и где невозможно было на расстоянии увидеть отдельно хотя бы одно дерево.

Время мое кончалось. Пора возвращаться, подумал я. Но не было сил повернуть обратно от этого простора и свежести, от морозного скрипа под ногами, от ветра, тонко пахнущего хвоей. Исчезло чувство неизвестности, владевшее мною еще несколько минут назад. Было, как дома, и далее куда спокойнее. Слово добрым знакомым улыбнулся я пяти деревьям на обратном пути, а вскоре ступил на желтый снег привокзальной улицы.

Поезд уже стоял у перрона. Полированно блестели длинные, обтекаемой формы вагоны, за синими шторами окон кое-где уютно горел свет. Сонная проводница мельком взглянула на билет, сказала: «В пятое купе пройдите, там никого нет, а постель я сейчас принесу».

Я прошел в купе, зажег свет и разделся. Потом достал полотенце, мыло, зубную щетку и отправился в

умывальник. Там я открыл горячую воду и хорошенько вымылся. Мне все казалось, что насквозь пропитался вокзальной копотью и запахом сала из товаро-пассажирского.

Вернувшись в купе, я зажег настольную лампу и потушил верхний свет. Лег на свежую простыню, чуть слышно пахнущую мылом, натянул до подбородка мягкое верблюжье одеяло и блаженно вытянулся. Потом взял книгу «Неизбежность странного мира» и начал читать. Вторым сознанием сквозь четкие фразы о камере Вильсона, космических лучах и элементарных частицах я заново видел раскаленную печку в скрипящем и шатающемся вагоне товаро-пассажирского, забитый людьми вокзал, старика на грязном кафельном полу, чуть присыпанном опилками.

— Ты моя доля,— говорил старик нежно, и девушка смеялась. Темная ночь над ослепительно-белым снегом начиналась сразу за окном, и я подумал, что прав был редактор, когда говорил, что жизнь сложнее и проще наших о ней представлений. Уже совсем засыпая, я понял, что написать репортаж в мартовский номер будет совсем не так легко, как представлялось вначале.